

ПРЕДИСЛОВИЕ

Если открыть распространенный в Германии энциклопедический словарь и найти статью «Треблинка», то можно прочитать, что это — лагерь уничтожения, находившийся к юго-востоку от Варшавы и существовавший с 1942 по 1944 год. «В целом в Треблинке было уничтожено около 900 000 человек, в основном евреев, в том числе 323 000 евреев из Варшавского гетто. В 1943 году узники подняли восстание, в котором приняли участие около 1000 заключенных».

Тут многое требует дополнения, а кое-что и исправления. Лагерь уничтожения Треблинка находился не юго-восточнее, а северо-восточнее Варшавы, на границе «Генерал-губернаторства Польша» — польской территории, оккупированной Германией. Машина уничтожения была запущена 23 июля 1942 года, восстание заключенных вступило в свою последнюю фазу 2 августа 1943 года, 18 и 19 августа в Треблинку прибыли два последних эшелона из гетто Белосток (по-польски Бялысток). С осени 1943 года по приказанию палачей в Треблинке только замечали следы преступления.

Неопределенные и ошибочные данные, содержащиеся в справочнике, являются лишь доказательством того, как мало нам известно об одном из самых страшных мест организованного убийства людей. А также доказательством, что история этого лагеря предана забвению, — забыто даже, где он находился.

Дополняя энциклопедический словарь, следовало бы сказать, как именно убивали в Треблинке. Дело в том, что — в отличие от Освенцима — людей отравляли выхлопными газами работающих моторов. Газы нагнетались в помещения, куда людей загоняли, словно скот, тысячами. К жестокости эсэсовцев и их украинских подручных добавлялись технические неполадки, когда моторы ломались, и полумертвым жертвам приходи-

лось ждать, пока отремонтируют орудие убийства. После Освенцима-Биркенау Треблинка была самым большим лагерем, где национал-социалисты поставили массовое убийство людей на промышленную основу.

Немногие выжили в Треблинке. Рихард Глацар, один из участников восстания августа 1943 года, записал историю этого лагеря сразу же после окончания войны, еще до своего возвращения в Прагу. Но для рукописи, написанной на чешском языке, не нашлось издателя, и она пролежала в столе больше четырех десятилетий. В 1990 году Рихард Глацар перевел ее на немецкий язык для публикации в серии «Воспоминания и свидетельства евреев», несколько сократил и дополнил сведениями о своей дальнейшей жизни.

Рихард Глацар родился в 1920 году в Праге в семье богемских евреев. Его отец был офицером австро-венгерской армии, в семье говорили на чешском и немецком. До 1939 года, когда немцы вступили в Австрию, семья Глацаров знала об антисемитизме скорее понаслышке, чем из собственного опыта. Родители спрятали 19-летнего Рихарда в захолустной деревне, где он спокойно живет до лета 1942 года. Потом он попадает в руки немецких оккупантов, в начале сентября его отправляют в гетто Терезин, а в начале октября — в Треблинку.

Десять месяцев пробыл Рихард Глацар в этом аду. Потом — побег через Польшу, работа под чужими документами в Германии, воздушные налеты, страх перед освободителями, — кажется, опасения заканчиваются только после возвращения в Прагу, летом 1945 года. Из всей семьи, кроме него, выжила только мать, прошедшая через Освенцим и Берген-Бельзен.

После войны Рихард учится в Праге, Париже и Лондоне, получает диплом экономиста, становится жертвой сталинизма. Когда «Пражская весна» закончилась неудачей, он покинул родину. С 1969 года живет в Швейцарии.

В 1957 году, во время деловой поездки, Рихард снова побывал в Треблинке. Еще раз ему пришлось вспомнить о своей истории в 1963 и в 1971 годах: в Дюссельдорфе проходят два процесса против убийц, орудовавших в Треблинке, и их помощников; на обоих процессах он дает показания об убийстве евреев. Всего 54 выживших узника откликнулись на призыв судебных властей, чтобы помочь торжеству справедливости.

Рихард Глацар, написавший свои воспоминания сразу после войны, потом в течение многих лет больше не говорил о

выпавших на его долю испытаниях. Свои записи он рассматривает как завещание, как свидетельство о действительно произошедшем убийстве народа, которое все время отрицается теми, кто не желает ничего знать, потому что, по их мнению, не существует «неопровержимых доказательств» существования Освенцима и Трешлинки, Собибора и Бельжеца.

Вольфганг БЕНЦ

ЗВЕЗДЫ ЗАПАЧКАНЫ ПРАХОМ ЗЕМНЫМ

Начало 1940 года. «Посещение неарийцами не желательно». Самые рьяные уже повесили в Праге над входом в свои кафе такие надписи, еще до того, как в оккупированной Чехословакии был издан приказ вывешивать официальную табличку «Евреям вход воспрещен» на дверях всех ресторанов, пивных и кабачков, театров и кино.

Несмотря на это, я хожу в кино, хотя и не так часто, как раньше. Разумеется, тайком, дома об этом не должны знать.

Иногда в кино еще показывают фильмы, которые, собственно, уже нельзя показывать, которые скоро будут запрещены. В кинохронике — воздушный налет японцев на китайские города. Бомбы падают и взрываются, дома рушатся, повсюду огонь и дым, вой моторов и сирен. Посреди площади в каком-то городе стоит на коленях молодая китаянка. Снова и снова она приподнимается, воздевает руки к небу и опять падает на почти раздетого, залитого кровью младенца. Снова и снова обвиняет она убийц. С этого дня Mater Dolorosa, Матерь Скорбящая, — а ее изображений много в барочной Праге — всегда напоминает мне эту молодую китаянку.

Действие американского фильма «Шангри Ла — потерянный рай» происходит в затерянной долине в Гималаях. Там, среди вечной весны, живут люди разного происхождения. Они в меру грешны, в меру сластолюбивы и могут долго наслаждаться жизнью, потому что в этом климате люди живут по несколько сотен лет. По вечерам, лежа в постели, перед тем как заснуть, я уношусь отсюда в Шангри Ла.

Но нет, не в Шангри Ла, бежать через несколько недель приходится в глухую деревню. Прочь из Праги, подальше от опасности, так решили родители. Я должен работать здесь за

стол и жилье столько времени, сколько будет возможно. Это были последние слова, которые они мне сказали. Говорят, их вывезут из Праги осенью 1941 года. Они заказывали телефонный разговор с уведомлением. Целый час я буду идти через лес в городок на почту. Родители в Праге тоже звонили с почты, потому что иметь дома телефон им было уже запрещено.

В деревне, высоко над стремнинами Влтавы, моими товарищами днем были две рабочие лошади, а вечерами — книги. Желтую звезду с надписью «еврей» я прикреплял в тех редких случаях, когда мне приходилось спускаться в городок, например, чтобы отвезти зерно на мельницу. Люди там вовсе не злы, но слишком много болтают, может быть, им просто интересно увидеть, что будет с евреем, если его заметят без звезды. Немцы уже многое заметили только потому, что люди болтали слишком много. Молчание — золото, болтовня — гестапо.

Там внизу я встречаю и других людей со звездами. Почему старшие все время говорят, что они гордятся своими звездами, что носят их с достоинством? Шагая с поводьями в руке рядом с телегой, я иногда ловлю себя на том, что все время немного прикрываю желтую звезду. Незаметно я разглядываю людей вокруг, выискиваю уродливых, покрытых шрамами, косых, хромых, горбатых и прикидываю, с кем я хотел бы поменяться местами, а с кем — нет. Это хорошая игра.

Вечером, устроившись в своей комнатке, которая служит мне одновременно и гостиной, и спальней, я читаю про древнюю Корею, страну маленьких поэтов, завоеванную и поработанную японцами: «Растоптаны прекрасные посевы,/ превратились в болота тропинки,/ звезды запачканы прахом земным».

И я говорю себе, что все уже однажды было.

СО СКОТОМ ОБРАЩАТЬСЯ Я УМЕЮ

«В другое гетто на востоке» — так было записано в распоряжении о переводе. Код эшелона — Ви. Мой личный регистрационный номер — 639. Прошло всего четыре недели с тех пор, как меня депортировали в гетто Терезин в протекторате Богемия и Моравия. Там у меня был номер Vg-417.

В начале сентября 1942 года они все-таки схватили меня в этой глухой дыре. И даже в Терезине мне не дали освоиться.

— Я должен доставить туда тысячу голов, тысячу, не меньше и не больше. И если кто-то на ходу высунет голову — буду стрелять! — Охранник в ядовито-зеленой форме полевой жандармерии кричит так, чтобы это услышала тысяча людей, согнанных на платформу в Терезине.

Поезд останавливается часто и стоит, особенно ночью, подолгу. На третье утро мы понимаем по надписям, что должны быть где-то в Польше. Вскоре после полудня мы снова останавливаемся. Видно здание железнодорожной станции с надписью «Треблинка». Часть вагонов отцепляют. На изгибе путей видно, как передние вагоны сворачивают на одноколейку. С обеих сторон — лес. Поезд движется совсем медленно. Можно разглядеть отдельные сосны, березы, ели.

Лес становится реже, все оживляются, прижимаются к закрытым или едва приоткрытым окнам, но никто не решается выглянуть. Высокий зеленый забор, открытые ворота, через которые не спеша проезжает наш вагон. Почти 4 часа по полудни, 10 октября 1942 года.

— Выходить, всем выходить, быстрее! Тяжелый багаж оставить в поезде — его потом принесут!

Перрон, за ним — деревянный барак, на перроне люди в сапогах, но в гражданской одежде. У одного в руке какая-то длинная, странная штука — кожаная плетка. Должно быть, это обычные люди, не евреи, на них нет желтых звезд. Кое-кто в эсэсовской форме, тоже с плетками, а некоторые — с автоматами. Напоминает городок на диком Западе, а позади — ферма с высоким зеленым забором. Забор такой симпатично-зеленый, наверное, это большая ферма, и там много скота — а со скотом обращаться я умею. С перрона нас ведут на плац. С обеих сторон — ряды деревянных барakov.

— Мужчины — направо, женщины с детьми — налево! Багаж на землю! Раздеться — догола!

Некоторых — совсем раздетых или полуодетых — отводят в сторону. Теперь они одеваются. Наверно, их отправят дальше. Это лучше? Или хуже?

— Документы и часы взять в руки!

Рослый эсэсовец что-то объясняет, сопровождая свою речь резкими жестами. Я стою далеко и ничего не слышу. Что? Мыться, а потом сразу на работу? Я, раздетый догола, стою в конце очереди. В такую погоду мне совсем не хочется мыться. Эсэсовец в пилотке быстро проходит вдоль очереди. Уже пройдя мимо и едва скользнув по мне глазами, замедляет шаг. Вот он останавливается, смотрит на меня через плечо, а потом и совсем поворачивается ко мне:

— Ты тоже выходи. Одевайся, быстро, встань туда, к тем. Звезду долой, часы и нож нельзя, так... Будете работать тут. Постарайтесь — сможете стать бригадирами или капо. А сейчас — за работу!

Я иду назад, сквозь прикрытые зелеными ветвями ворота, за углом — еще одни ворота, эти открыты лишь наполовину. Проходя мимо них, я вижу большой плац, а на нем огромные кучи, прямо горы вещей. И вот мы уже внутри, в бараке. Пахнет деревом, плесенью, снаружи слышен грохот какой-то машины, наверное, это трактор. Повсюду люди в гражданской одежде. Они бегают взад-вперед и тащат на спинах какие-то узлы.

— Это ваш бригадир.

Рослый красивый парень с плеткой в руке и желтой на-рукавной повязкой с надписью «Бригадир» жутко кричит на работающих людей. Я не понимаю слов, но по выражению его лица и жестам догадываюсь, что бегающие люди должны разобрать одежду, беспорядочно сваленную на пол барака, рассортировать ее, связать в узлы и унести.

— Послушайте, — я пробую говорить по-немецки. — Что здесь происходит? Где все остальные, те, раздетые?

— Мертвы, все мертвы, а если еще нет, то уж точно через несколько минут. Это — лагерь смерти, здесь убивают евреев, а нас выбрали, чтобы мы им помогли.

Он старается говорить так, чтобы было похоже на немецкий. Многие слова я понимаю, остальное додумываю. Он стоит надо мной на огромной горе одежды, из которой люди в дикой спешке вытаскивают отдельные вещи, дергают, рвут их и куда-то убегают. Я гляжу вверх, на него; он стоит, разведя руки, на запястье висит плетка.

— Ты из Чехии? И ты не понимаешь идиш? Осторожно! — Он кивает на дверь, где появилась зеленая с черным эсэсовская форма. Жилы на его шее надуваются, загорелое гладкое лицо становится красным, рука начинает раскачивать плетку. — Давай уже, хватай эти тряпки, шевелись, ради Бога, шевелись, иначе не протянешь и до вечера!

Быстро, быстро что-нибудь делать — как вон тот — или тот. Я вытаскиваю из кучи что-то вроде простыни, разворачиваю ее, кидаю на нее обрывки одежды и хочу все это завязать в узел...

— Больше, больше, узел должен быть больше, если хочешь сюда вернуться!

Я взваливаю узел на плечо и хочу выйти на большой плац. Я уже почти у двери, когда что-то падает мне на голову: полный мешок. Я пошатнулся, с большим трудом удержал равновесие. Снаружи перед дверью прогуливается эсэсовец, в черной форме, в пилотке, очень молодой, по-видимому, очень здоровый, и, улыбаясь, подгоняет нас ударами плетки:

— Бегом, все время бегом!

Ага, здесь надо бегать, шагом ходить нельзя. Я едва успеваю оглядеть огромный плац. Горы одежды, обуви. И повсюду, как и в бараке, снуют туда-сюда люди.

— Бегом, все время бегом! Быстрее, быстрее! — кричат и машут плетками люди в черных и зелено-черных мундирах и другие, с желтыми нарукавными повязками, как тот, в бараке.

У одной из куч у меня забирают узел. Когда бегу назад, успеваю прочесть надписи на нарукавных повязках: «бригадир» и «капо».

Что сказал тот парень в бараке? «Мертвы, все мертвы» — все раздетые, голые, все, кто остался за зеленым забором. Я вспоминаю: поезд остановился, а потом медленно, почти со скоростью пешехода свернул к лесу. Справа была просека, за ней открывалась равнина, тянувшаяся до горизонта. Там паслись коровы, а при них — босоногий пастушонок, — ожившая картинка из старого букваря. Он смотрел на поезд. Один из нас крикнул ему что-то сквозь едва приоткрытое окно. На таком большом расстоянии, да еще и по-чешски —

мальчик ничего не мог понять. Он только слышал крики и видел вопросительные взгляды людей за стеклами. Пастушок схватился обеими руками за шею, словно хотел удавиться, выпучил глаза, высунул язык — так мальчишки корчат рожи. На мгновение он застыл так, потом отвернулся и побежал обратно к своим коровам.

Теперь я слышу стук колес: въезжает вторая часть эшелона. А ведь там Карл Унгер со своими родителями и младшим братом. В последнее время в Терезине я всегда останавливался у них, когда проезжал мимо на своей телеге. Он сидел наверху, в своем «убежище», болтал ногами и, казалось, ждал меня. Иногда он меня останавливал. Я загадываю, как раньше, в школе, перед трудной контрольной: «Если *они* оставят и его, то с нами обоими все будет хорошо».

Я возвращаюсь к своему бригадиру.

— Слушай, а где здесь спят?

— В бараках.

— А как насчет еды? — Что за глупости я спрашиваю...

— Хоть объешься. — Он делает движение рукой, словно хочет обнять меня. Тут же все в нем напрягается, он несколько раз хлещет плеткой по узлам на спинах людей, уже приготовившихся бежать. — Через два-три дня, если еще будешь жив, поймешь, что в Треблинке есть все — все, кроме жизни. Меня зовут Леон. А тебя?

Вводят еще одну группу. В ту самую минуту, когда я взглядел среди них Карла, он уже выкрикивает мое имя. Он немного выбился из шеренги. Он уже все знает, и все-таки в его голосе звучит вопрос, нежелание знать:

— Мать... отец... брат.

К вечеру с нескольких сторон раздаются свистки. Нас всех плетками сгоняют в шеренги по пять человек. Мы маршируем вдоль перрона, вниз по склону в другой барак. Над нами несколько высоких сосен, странно искривленных, их кроны наверху совсем темные. Через окошко выдают жестяные миски и хлеб: этот барак — столовая.

Я жадно пью из кружки черный эрзац-кофе. Он льется через край мимо рта, но я не могу остановиться, не могу оторваться от кружки. Я чувствую жажду, ужасную жажду. Собственно говоря, я уже двое суток ничего не пил. Может,

поэтому у меня в голове так пусто, словно мозги усохли. Нет, у меня в голове торчит палка, если схватить ее за оба конца, то меня можно на ней поднять, повесить, меня можно на ней опустить на землю, меня можно на ней крутить в разные стороны. Кто-то протягивает мне полную миску и забирает пустую. Но это человек не из нашего эшелона. Мы все стоим здесь вместе, нас примерно двадцать. У того, что дал мне миску, такое выражение лица, будто он рад, что я пришел — вслед за ним, вслед за ними, вслед за другими.

Клиновидную порцию грубого хлеба я бросаю в кучу хлебных кусков разной величины и разных сортов. Темные караваи, беловатые булки с зелеными пятнами плесени, недоеденные батоны, склеившиеся ломти перемешаны с чем-то еще, что раньше было, вероятно, съедобным.

Через какое-то время — снова свистки, нас снова сгоняют в шеренги, снова удары и удары, пока мы не оказываемся в бараке, там наверху, на плацу, где днем нам велели раздеваться. Загорается несколько свечей. Голый пол, повсюду только песок. Все ложатся, куда могут, дерутся за место, спотыкаются друг о друга, падают. Между тем снаружи раздается приказ: «Потушить свет, спать!» На закрывающуюся дверь с крыши барака, стоящего напротив, падает конус света.

Удушающий запах тел, дерева и песка, который теперь отдает накопленное за день тепло. Тысячи иголок вонзаются мне в тело, и меня одолевает зуд. Наверное, в песке полно блох.

Слышны вздохи, стоны, кто-то вдруг вскрикивает, крик переходит в вой и рев. Теперь кажется, что кого-то бьют, проклинают, упрасивают, уговаривают. Ко мне прикасается рука Карла:

— Похоже, кто-то повесился...

Скоро все затихает. А потом среди тяжелого дыхания множества людей раздаются жалобные звуки и слова: «Итгадад веиткадаш». Но я же знаю, что это. Это — кадиш, еврейская поминальная молитва.